

Алесь Адамович

Война под крышами (фрагмент)

У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей.

Часть первая Война входит в дом

Настигнутые бурей

Люди в поселке не знали, что все то, о чем они думали и хлопотали, чему радовались и о чем бедовали в это чистое июньское утро, было совсем не таким важным, как им казалось: уже несколько часов шла война.

До полудня в рабочем поселке Лесная Селиба все имело свою обычную цену.

У пропыленной полуторки – мальчишка лет четырнадцати с загоревшей стриженной головой. Щеки у него по-детски округлые, но шея, руки – тонкие и длинные. «Растет», – говорят про таких в утешение матерям. Мальчишка держит в руках помятый чемоданчик, барабанит коленками по нему и глядит сразу во все стороны. С его лица не сходит улыбка, которая говорит очень откровенно, что человек счастлив видеть всех тут и что он очень удивился бы, если вдруг ему здесь не все были бы рады. Его улыбка заставляет уставших, пробеленных сульфатной мукой женщин, которые идут со смены, припоминать о чем-то, мало интересном для них: «...Это, кажется, докторов младший, Корзуниха зачем-то отправляла его к своему брату».

Мужчина в мешковатом суконном костюме расплачивается с шофером. Он не торопится. По всему заметно: не он приехал домой, не он вот-вот встретится со своей мамой, и вовсе не ему страшно не терпится увидеть сразу все то, что год назад хотелось поскорее променять на более интересное.

Под нетерпеливо-радостным взглядом мальчишки высокий сутулый мужчина спрятал наконец большой бумажник и принялся стряхивать пыль с рукавов.

– Не ждут нас сегодня, Толя.

Мальчишка заулыбался еще шире: он-то знает, ждут или не ждут его.

Дядя, который идет с чемоданом за Толей, замечает все, что с такой радостью узнавания видит и Толя: отлогие канавы, где трава жадно выщипана гусями, придорожные сосны, серые от пыли, дома вдоль шоссе, лес, подступающий к самым огородам и сараям. Но все это дядя видит не так, как Толя. Он, конечно, не замечает, что все тут стало другим. Больница под красной крышей как-то распласталась, осела; заводская труба, дымящая у леса, сделалась ниже, будто искурилась. Глядя на здание школы, Толя удивляется: и как только за этим рядом окон укладывается тот длинный гулкий коридор?

Хотя нет, не все тут изменилось одинаково. Сделалось меньшим для Толи то, что оставалось на месте. А вот шоссе точно вместе с Толей вернулось в поселок откуда-то издалека. Черная полоса его уютно улеглась между мягкими пыльными обочинами, указывая на восток и на запад: на Москву и на Брест. Вглядишься – видишь: не лежит, а бешено несется вдаль и вдаль асфальтка, втягивая взгляд, точно воронка воду.

Старый екатерининский тракт, только недавно зачерневший асфальтом, охотно отдал поселку под улицу один свой километр: что для «варшавки» этот километр! Сколько их у нее! За поселком, где кончается высокая ограда стеклозавода, на старом бетонном столбе значится с восточной стороны: 669. Это – до Москвы. С западной – 99. Столько до Слуцка. А за Слуцком еще Кобрин, Брест...

Много километров у асфальтки, но этот для Толи – единственный: на нем разместилось его детство.

Толе скоро пятнадцать. Это тот возраст, когда в воспитании, по мнению дяди, нужна подгонка и шлифовка. Дядя Федор – директор школы. У него нет своих детей, и он берет к себе на год, на два то одного, то другого, племянника, если решит, что дома их «засахаривают».

С дядей и у дяди страшно интересно. Приезд его – праздник. Одевается дядя совсем не по-директорски, галстука на нем, по

утверждению тети Лены, и на свадьбе не было. И лишь чемоданы у него всегда богатые: скрипящие, кожаные, большие. Он всегда приезжает с подарками. И если он дарит, так не сандалии или штаны, а краски в тубиках, набор инструментов, а то и фотоаппарат. Дядя все умеет делать сам, около него и тебе хочется все уметь. Он и Толю брал к себе «работать»:

– У нас там даром хлеб не едят.

Но это не пугало. Толе тогда казалось, что именно серьезного дела ему и не хватает дома.

– Поедешь, сынок? – спросила мама.

– Конечно! Надоело уже! – отозвался сын, да так горячо, что мать удивленно и даже чуть обиженно поглядела на него, а потом засмеялась:

– Мы уже и надоели ему.

– Малеча!

Это, конечно, Алексей вставил свои три грошика. Ему что, ему хорошо, он старший. Если у тебя есть брат двумя годами старше, жизнь твоя – сплошные огорчения. Вечно ты до чего-нибудь не дорос, и главное – на каждом шагу тебе об этом напомнят. Можешь сколько угодно переходить из класса в класс, ничего не изменится в твоём положении, точно зарубка над тобой поднимается по мере того, как ты тянешься вверх. Началось это с люльки и штанишек, которые перешли к тебе от старшего брата.

А там и пошло. Все, что достается тебе, мало интересно уже потому, что брату позволено что-то большее, до чего тебе надо еще дорасти. Он может сам заводить патефон, а ты – обожди. Можешь, если угодно, тренькать на балалайке. Потом подпустят и к патефону, а тебе уже интересно было бы самому смазывать велосипед. Но тебе лишь позволяют перетирать в тряпочке дробь шариков, которые брат выковыривает черными пальцами из втулки. А там фотоаппарат, – и вообще конца нет всему этому.

Говорят, что цыган проклинал своего обидчика так: «А чтоб у тебя, батя, моложе, чем ты, никого в семье не было». Этот цыган знал, как пожелать зла человеку.

Алексей умеет сам находить интересное занятие: навес для дров поставит, тачку сколотит, сарай вычистит. Толе остается лишь помогать ему. Алексея не отрывают от его дела, да он не очень и побежит: знает, что на это Толя есть – фасоль перебирать или к помпе ехать.

Может, потому Толя так рвался из дому: у дяди он избавится от роли младшего. Но брат и тут опередил его. Тамошние хлопцы и знакомились и расставались с Толей, как с Алешиним братом: никем другим для них Толя не стал. Алексей на зависть просто сходится со всеми, у Толи это получается трудно. Приехав к дяде, он вначале был как девочка, не задибался ни с кем, уступал каждому. Но никто, кажется, этого не оценивал, да и невозможно сдерживать себя без конца. Начнется с пустяка. Гоняются друг за другом с репьем: особенно интересно закатать его в чужие волосы. Потом дойдет до комьев земли и дерна. А там и камни пошли в ход. После одной такой игры захромавший Петька-заика сказал:

– А-алеша был лу-учше тебя.

Что правда, то правда, Алексей ни с кем из ребят никогда не дерется. Но зато как свирепо он схватывается с Толей. И глупая привычка – всегда начинает с ультиматума:

– Отстань – съешь!

Глаза у брата останавливаются:

– Не лезь, говорю, сейчас будешь вопить: «Мама!»

Толя обычно доводил дело до конца и вскоре действительно кричал: «Мама!» Конечно, при этом он и сам, как мог, защищался.

У дяди многое напоминало об Алексее. Особенно в физкабинете. Только и слышишь от дяди: «Это Алексей постарался». Толя же долгое время побаивался хрупких колб и нескладных электрических машин: у него было предчувствие, что тут недалеко и до беды. И беда не заставила себя ждать. Как-то вечером Толя поставил большую лампу не на металлическую треногу (откуда ему было знать, что воздух в лампу поступает снизу), а прямо на стол. И часа не прошло, как все было готово, аккуратный бархатный слой сажи украшал все, что стояло, лежало и висело в физкабинете. «Да разве ты – Алеша», – прочел Толя в почужевших дядиных глазах.

Домой тянуло все сильнее. Совсем по-детски ему хотелось увидеть маму! Нет, не увидеть. Когда восходит солнце, человек встречает его не одними глазами, он всего себя подставляет солнцу. Увидеть маму – это почувствовать ее взгляд на себе, теплоту ее глаз. Толя любил представлять тот миг, когда оставшиеся до летних каникул месяцы, дни, часы будут уже в прошлом. Он пройдет через двор, вступит в сени, возьмется на ощупь за косо поставленную скобку, от которой еще не отвыкла рука...

И вот он, этот миг. Толя почти бежит через узкий двор. Сразу приметил новую скамейку и курятник – Алексей постарался. Засматривает в окна, заранее улыбаясь, распахивает перед дядей дверь в сени.

– Принимайте своего бурсака, – проговорил в теплый полумрак кухни дядя.

Толя стоял на пороге и напряженно ожидал чуда, И чудо свершилось: откинув марлевою занавеску, из столовой вышла она.

В то остановившееся мгновение, пока она стояла у голубой занавески с чем-то темным в руках и не знала, куда девать это темное, Толя впервые увидел мать со стороны. Раньше, когда он привычно видел ее каждый день, его застал бы врасплох вопрос: какая она, его мама, какие у нее глаза, какое лицо? В детстве он говорил: «Моя мама самая красивая». Но он точно так же сказал бы: «Солнце самое солнечное». Она такая, какая есть, другая – это уже не мама. Глазам ее, походке, лицу он мог бы дать лишь одно определение: мамино. Серые, черные, карие глаза – это у других, у мамы они – ласковые или сердитые.

Теперь, *со стороны*, Толя видит, что глаза эти светлые-светлые, как река в жаркий полдень. И мама не только для него, но и для всех красивая, и так хорошо, что она чуть-чуть полная и что она собирает пышные темно-золотистые волосы в простой узел, и ей так идет это белое в дымчатую полосу платье с короткими рукавами. Все это Толя впервые увидел и отметил каким-то новым мгновенным чувством. И напряженный залом бровей, не распрямляющийся даже при улыбке, по-новому видел Толя. Раньше он только ощущал его: в нем как бы собиралось то, что вызывало в нем ответное чувство радости, горечи, обиды или злости. Глупой детской злости!

– Ну что, сынок? Похудел как...

Так засветиться счастьем и так чуть-чуть печально спросить могла лишь мама. Единственный в мире человек, который понимает все и которому совсем не нужно, чтобы Толя был Алексеем.

– Я его не на откорм возил, – сказал дядя, здороваясь с военным, который вышел из боковой двери, скрипя хромовыми сапогами. Военный со шпалой – Толин отец. От него исходит волнующий, хотя и несколько чужой, запах: ремни, сукно. И еще –

с детства знакомый запах махорки. Ничего другого отец никогда не курит.

Толе неудобно стоять под тяжелой, обхватившей его голову рукой, но он не уходит от папы. Будь это мама, он не задумывался бы над тем, постоять или отвести руку, отстраниться. Но это отец, и Толя томится в нерешительности. Однажды он получил письмо от матери, из которого понял, что папа обижается на его «здравствуйте» и «до свидания». Оказывается, нужно еще: «дорогие», «целую». Мама понимает, что не в этом дело, а с отцом надо как-то все учитывать. Когда отец уходил на финскую войну, Толя забрался в спальню, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку ножей о тарелки, к голосам гостей, и мучился от сознания своей черствости: он не мог плакать. Отец заметил его отсутствие и все истолковал по-своему. И мама потом сердито отчитывала Толю, но он видел, что она все понимает.

– Похудел, значит, учился, – говорит отец, больно прижимая к ремням Толину голову.

Мама, наливая воду в умывальник, отзывается:

– Что вы знаете? Иди умойся.

И, конечно, обязательное:

– Уши тоже.

Значит, Толя действительно дома.

– А это кто? – нарочно спрашивает дядя, с удивлением рассматривая Нину, которая кошкой повисла на ширме.

– Дядя, ну-у, – жалобно стонет сердитая Нинка.

– По матке скучает, – неодобрительно хмыкнула бабушка, – как малая.

– Да и не большая, дети же, – не сдержала раздражения мама и, стараясь сгладить невольную интонацию, начала пространно объяснять, что тетя Катя на курорте, что вернется она числа двадцать пятого.

А бабушка все та же, на все у нее свое особое мнение. Она выходила двенадцать детей без этих теперешних нежностей, восьмерых из них пережила и с неодобрением глядит на матерей, которые дрожат над ребенком.

– Еще бы – одно, – часто бормочет бабушка. – Было б у вас десять их – не до того было бы.

– Ну, а ты что не встречаешь гостя? – Голос дяди уже в спальне.

С Алексеем тоже, кажется, надо здороваться. Будто сговорившись, братья первые мгновения встречи заполняют какими-то посторонними словами, движениями, и вот уже упущен момент, когда обязательно нужно хватать за чем-то друг друга за руку. Алексей затягивает ремень на брюках, старательно отутюженных. На голове – гляди ты – прическа! Волосы у Алексея в мелкое колечко и сухие, чуб сваливается набок, как плохо, неумело заверченный стог.

– А, малеча явился, – произносит он довольно-таки радостно. Вообще-то он хороший парень, и дело совсем не в том, чтобы обниматься и лизаться.

Толя пошел поздороваться с бабушкой. Бабушку слышишь из соседней комнаты: в груди у него бушует астма. Усы совсем проржавели от махорочной копоти, а блеклые глаза все те же – умные, добрые.

Не удержался Толя, чтобы еще раз не пробежаться по дому. Дверей много. Когда переехали сюда, Толя обрадованно говорил матери:

– Ну, теперь не отлупишь: вокругую бегать можно.

Каждая из комнат встречает Толю знакомым запахом, знакомыми вещами.

В столовой, которая одновременно служит и спальней для стариков, запах застоявшегося тепла, потертых сенников, сухого укропа, смоляков и сильнее всего – кожи (бабушка сапожничает).

В спальне две кровати и шкаф, приторно пахнет чистым бельем.

В большой комнате, которую в доме называют «залом», пахнет лаком от нового буфета. Тут зелено от фикусов.

И обивка дивана зеленая. Диван в этой обивке почти на всех фотографиях, сделанных Алексеем.

В кухне все упрятано за ширму. Бабушка и мама знают, как отец не любит, если что-нибудь лезет ему под ноги. Оставят на виду грязное ведро, корзину, веник – все это сейчас же летит в угол, как только он войдет в кухню.

– Ко мне больные ходят, а тут хлев сделали! – кричит папа, пиная ногой ведро, корзину, и обедать садится хмурый, будто ему повстречался по дороге лютейший враг.

Папа теперь лишь по воскресеньям наезжает из города (он служит на аэродроме), но корзины, ушат, ведра по-прежнему

прячутся за ширму и оттуда трусливо пахнут мытой картошкой и теплым тестом.

Папа, по определению бабушки, «хозяин не в дом». Он знает лишь свою больницу. Мама, смеясь, рассказала однажды:

– Пришел за лекарством больной, к которому ты вчера ездил, и говорит: «Везу я Ивана Осиповича и показываю на поселковое стадо. Хорошая, говорю, доктор, коровка у вас, вымя по земле. А он: а какая тут наша?»

Толя остановился на пороге, будто исполняя какой-то обряд. В день отъезда он вот так же стоял на этом самом месте, стараясь запомнить себя *еще не уехавшим*. Тогда здесь стоял Толя, который еще не ездил к дяде, теперь тут Толя, который уже побывал там.

Не дожидаясь завтрака, Толя отправился к Миньке Барановскому.

Через полчаса друзья были в своем лесу. Солнце уже высоко, но здесь, под дубами, трава еще росит, щедро обмывает босые ноги. Дубы положили на землю большие тени. Кажется, что вышли из пахучего бора богатыри, остановились у края леса и смотрят на запад, а у ног – щиты.

Не понимая товарища, которому хочется побыть около дубов, Минька идет дальше, на горку, поросшую сосняком. У Миньки там гнезда, которые нужно показать Толе. Маленький, с большим горбатым носом, за который его прозвали Пилсудским, Минька занимается своим обычным делом: сосредоточенно выстругивает палочку. Минькой же он окрещен по милости младшего братца, умершего год назад, который так и не научился выговаривать правильно Мишка, зато других научил говорить Минь-а.

Откровенно говоря, птичьи гнезда – это не то, что могло бы по-настоящему заинтересовать старых друзей сегодня. Как в жару пить, Толе хочется почитать вслух стихи: чужие, а среди них и свои. Радостно, когда слушают и не догадываются, что стихи-то твои...

Но друзья начинали с того, чем кончили год назад. У Миньки на примете много шмелиных гнезд. Можно создать целую пасеку. Когда-то Толя занимался этим. Улейца на манер скворечен, даже маленькие «колоды» – все было сделано, как у Жигоцкого, у которого всегда можно купить меду. Шмели, перенесенные вместе с сотами в палисадник, выползали на лоток, долго делали зарядку крылышками, нежили на солнце свои черно-оранжевые бархотки, потом легко снимались и улетали.

– За взятком, – радовался Минька.

Одни улетали, другие возвращались, и все шло, как на пасеке. Но когда друзья сняли крышку, осторожно приподняли мох и взглянули на темные, крупные, как орехи, соты, они опешили: все соты, даже те, что прежде были запечатаны, оказались пустыми.

Шмели не захотели быть Толиными пчелами.

– Куда же они летали? – недоумевал Минька.

А Толе тогда подумалось, что шмели летали на свое болотце: там они жили, а к нему являлись только на обед.

С пасекой не вышло. Но к тому времени его захватило другое. Толя взялся приручать скворца и галку. Приручить – это значит подружиться, и Толя подружился со своими птицами, особенно со скворцом.

Галка была хитрая и жадная. Она вечно торчала на базаре, попрошайничала, а однажды стащила у зазевавшейся бабы красную тридцатирублевку. Разбойница примостилась на крыше и, прижав лапкой бумажку, клювом стала отрывать клочки и бросать их вниз. Баба вначале испугалась, а потом озлилась:

– Бачили вы такую нечисть? Гэта ж босота заводская выучила ее деньги красти.

Хлопцы визжали от удовольствия. Толя похвастался дома талантами галки. Отец пообещал отдать ее кошке, а Толю заставил разыскать пострадавшую и вернуть ей деньги.

Скворец имел нрав тихий и мягкий. Толя и прозвал его Пушком. Это была ласковая и обидчивая птица. Галка, усевшись на плече, больно клевала в ухо, норовила в глаз: она все пробовала, нельзя ли съесть. Пушок, тот мягко терся головкой о щеку и, как в окошко, заглядывал в Толин глаз черным глазком-бусинкой. Переступая дерматиновыми лапками, волнуясь, спрашивал: «Чуешш? Чуешш?»

– Чую, слышу, – отзывался хозяин.

Но Пушок нервничал, вертел головкой и улетал, видимо, не вполне уверенный, что Толя слышит все, что слышит он, Пушок. Если надо было позвать галку, Толя подражал ее гортанному: «У-гга, у-гга». Пушок летел на свой зов: «Чшш, чшш». Галка являлась, только когда была голодна, Пушок – в любое время и лишь на зов хозяина. У Пушка была какая-то своя память на ласку. Толя верил, что скворец помнил, как Толя отнял его, гадкого, голенького, у мальчишек, как поил и кормил его из губ...

И вот однажды душевные отношения с обидчиво-ласковым Пушком испортились. Случилось это, как всякое несчастье, внезапно. Толя из сеней позвал скворца. Черный комочек свалился с дерева и стремительно понесся к дому, почти касаясь земли. Когда комочек проносился над грядками, что-то белое метнулось вверх. Кошка! Толя закричал – Пушок вырвался и улетел. До самого вечера Толя ходил под соснами и все звал скворца. Но Пушок молчал, затаившись. Он, видимо, считал, что Толин зов и то страшное, что встретило его в огороде, как-то связаны одно с другим. И Пушок не отзывался, молчал. Толе казалось – обиженно, страдая. Как сделать, чтобы Пушок снова поверил ему? И Толя звал, звал... А потом стал хватать камни и швырять в своего любимца. Подошли мальчишки-дачники и охотно начали помогать ему. У Толи комок в горле стоял, а он со злобой метил в своего Пушка камнями и бутылками. Скворец перелетал с дерева на дерево и забирался все выше. Но от дома не улетал.

Так и ушел Толя спать, оставив его одного. А к утру все в доме переполошились.

– Что с тобой, сынок, где болит? – слышал Толя испуганный голос мамы. Плакать он начал во сне, да так и не мог остановиться. Наконец разобрались. Алексей оделся и вышел.

– Иди, на крыше уже ждет тебя, – сказал он, вернувшись.

С непросохшими глазами выбежал Толя, позвал. Скворец громко, голодно отозвался. Ниже и ниже, с опаской, бочком спускался он по крыше. Толя взобрался на сени и, все еще всхлипывая, пополз ему навстречу.

А потом Пушка украли дети дачников. Они и землянку завалили, в которой друзья прятались, играя в «красных» и «синих».

Сейчас Толя почти не обращает внимания на лесные секреты, открытые Минькой без него.

– Идем к нашей землянке, – просит он.

Землянка когда-то была их тайной. Рыли ее по вечерам, когда над поселком сгущались теплые влажные сумерки, а с болотца густо тянуло пьянящим запахом багульника. За несколько таких вечеров под деревьями в разных местах выросли желтые кротовые бугорки. На том же месте, где землянка, – ничего подозрительного. Лишь куча хвороста. Друзья вползали через узкую дыру под землю, лежали там на пахнущем шмелиным воском мху и упивались жутковатым чувством отгороженности от всего мира. Лежа в

землянке, очень легко было представить мир без себя. На шоссе отдаленно гудят машины, распевно визжит заводская циркулярка. Где-то там, у горячей печи, обжигающей глаза оранжевым пламенем, – стеклодувы. На базаре, возле клуба – везде люди. Ничего не меняется от того, что тебя будто и нет на земле. Именно в эту секунду пропела бы циркулярка, если бы тебя вовсе и не было... Выбравшись наверх, друзья шли в молчании к поселку, связанные каким-то общим настроением.

Теперь на месте землянки лишь небольшое углубление, заросшее неестественно темной, почти синей травой. Видны почерневшие концы досок. Толя потрогал их ногой, и на мгновение неизвестно отчего ему стало тоскливо. Но только на мгновение.

Домой Толя прибежал, когда на заводе прогудел гудок. Одиннадцать часов. Толины глаза внесли в прохладный полумрак кухни яркую желтизну песка, которым был посыпан двор, бурый цвет ограды палисадника, распираемого зеленью, блеклую знойность июньского неба. И тут Толю встретил мамин голос. Это был совсем не тот голос, который он оставил утром, отправляясь к Миньке.

– Где вы все пропадаете? Не доищешься. Нашли время. Папа ждал, ждал и уехал.

И наконец она сказала:

– Война, сынок. С Германией.

Что-то засосало внутри – так бывает, когда качели летят вниз. Война! Вчера еще такое незаметное среди других слов, обращенное в книжное прошлое и неопределенно далекое будущее, слово это вдруг зловеще ожило, оно встало, как плотина, поперек всех мыслей, желаний, чувств. Не зная, что и как сказать матери, бледной и заплаканной (он только теперь увидел это), сын постарался сделать серьезное и даже испуганное лицо и поспешил уйти к мужчинам.

В спальне Алеша возбужденно хлопотал над дядиным чемоданом, а сам дядя переодевался, собирался в дорогу.

Толе не терпелось услышать, что скажет дядя. Но первым заговорить Толя не решался, опасаясь, что в голосе его все еще не будет той серьезности, которой требует слово «война». Он молча сел на кровать. Посмотрел в окно. Там – залитая солнцем соломенно-желтая дощатая стена сарая, а выше – зеленоватое небо.

Рядом с желтым голубое делается зеленоватым. Толя рисует акварелью, и ему это известно. Но не об этом сейчас надо...

– Война, дядя, да?

– Где ты был? Папа уже уехал на аэродром.

– А вы домой?

– К себе в военкомат. Может, и домой забежать удастся.

Дядю проводили к автобусу. Возвращаясь, свернули к радиоузлу, где толпилось много людей. Над приемником, выставленным в окне, – флегматичное и, как всегда, небритое лицо радиотехника Прохорова. Прохоров осторожно притрагивается к рычажкам, как бы опасаясь, что пугающе-торжественный голос, который оповещает о важном сообщении, вдруг пропадет...

Люди слушали, и такое было ощущение, что каждый стоит и подавленно соображает: что потерял он сегодня, что недоделал, не повидал, не успел? Еще никого из стоявших здесь, под, прищоссейными соснами, война не затронула, но уже общая тяжесть легла на плечи каждого.

Полдень, а это лишь первое сообщение о войне, начавшейся в три часа ночи. Не мы на территории врага, а он на нашей, его самолеты над нашими городами. Это озадачивает, но не пугает. Люди все-таки не понимают немца: что заставило его броситься на стену, заведомо несокрушимую? Вот-вот должно быть сообщение, что неожиданный наскок врага отбит. Что такое сообщение будет, верят почти все, его жадно ждет, хочет услышать и тот, кто завтра бросится на восток с детьми на руках, и тот, кто встретит врага на пороге своего дома с непреходящей ненавистью, и даже кое-кто из тех, кто скоро начнет подсчитывать свои обиды или кто через какой-то месяц повяжет на рукав белую тряпку полицая.

И если бы в это время, когда звучал тревожно-торжественный голос диктора, кто-либо сказал бритоголовому завкомовцу Пуговицыну, солидно застывшему у приемника, что через два месяца он добровольно станет полицаем, он искренне оскорбился бы. Пожалуй, не поверили бы в такое же превращение и братья Леоновичи, тощие и хохлатые, как удода, сидящие рядышком на крыльце радиоузла.

Совершенно не поверил бы и Сенька Важник, что через полтора года он убьет заводной ручкой толстяка Лапова, который жарко дышит ему в затылок. Не об этом думает Сенька. Он выделяется среди окружающих не только удивительно темным

загаром и любовно наращенными бицепсами, но и выражением голубых глаз: в них – почти радостное возбуждение. Сенька обдумывает, как быстрее отхватить «кубаря». Если в военное училище податься – засидишься, и война окончится. Надо сразу на фронт.

Совсем другие лица у пожилых рабочих – озабоченные, серьезные.

И у женщин глаза туманятся тревогой и той почти извечной тоской, которая затягивала очи матери и жены, когда приходила весть о неведомо откуда явившемся «черном народе» – татарах, о «пранцузе», идущем по белорусской земле на Москву, о том, что с орудийным громом подходит «герман» и надо сниматься с обжитых мест и ехать куда-то в свет, в беженство.

Сообщений, которых ждали, не было. Но все равно упорно держались ободряющие слухи о первых успехах. В самом оптимизме, жадно-доверчивом, ощущалась большая тревога.

Она стала еще определеннее, когда вечером и в поселок донесся голос войны. У заборов, под соснами, по одному и молчаливыми группками стояли люди, прислушиваясь к упругим и каким-то оголенным стукам в землю: туг-туг, туг-туг-туг. Бомбили город.

– Пшеничка наша сыплется!

Это сказал дедушка. Толя поглядел на него сердито. Если бы это не дедушка сказал, можно было бы решить – враг!

Утром звонил отец, велел приехать в город. Когда выходили к автобусу, Толя немного задержался: затерялась его соломенная тюбетейка. Нашел за кушеткой и выбежал в сени. Все почему-то столпились в дверях. Через головы Толя мог видеть лишь небо, и потому он сразу увидел то, что всех держало в оцепенении: широкий ряд самолетов, неотвратимо и грозно плывущий с запада. Моторов не слышно, кажется, что это сон. И только когда прорвался грозный рев и что-то затрещало, как рвущаяся клеенка (да это же пулеметы!), все стало страшной правдой. Вот оно – война, смерть!

Толя метнулся назад в дом, вбежал в спальню, и таким уютным и безопасным показалось ему место под кроватью. Но он пока лишь сел на пол. Грохнуло в стены, в землю. Дом подскочил, как чернильница от удара по столу. Вместе с домом подскочил и Толя.

Когда он выбежал во двор, первое, кого стали искать его глаза, – маму.

– Беги в лес! – сдавленно крикнула она ему.

Толя даже не заметил, что мама осталась совсем одна, не подумал: а как же она? Теперь для мамы самое главное – его, Толино, спасение, он знал это и соглашался с этим с самым наивным детским эгоизмом. Хотя, пожалуй, он ни о чем и не раздумывал в эти минуты, даже о том, куда и сколько он будет бежать. Что-то беспощадное надвинулось, нависло, и надо бежать, бежать, чтобы быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Обогнав идущих и бегущих женщин, Толя пронесся меж дубов, которые уже подобрали с земли тени-щиты, и ворвался в бор, гулкий и просторный. Людские голоса катились вслед ему, подхлестывали. Но вот они стали глуше: все слышнее мерное, покойное дыхание бора. Толя остановился. В самом деле, куда он бежит? Постоял, потом пошел назад. Опять ожили людские голоса, крики, заглушая шуршащее колыхание сосен, но теперь крики не пугали.

Идя к поселку, Толя думал, как бы найти Алешу. А вот и люди, многие с узлами, у женщин даже подушки. Тех, у кого белое в руках, зло, нервно ругают. Мужчины собираются группками, курят и возбужденно обсуждают: прилетят ли еще и когда прилетят. А вон Алексей в своих выглаженных брюках, рукава синей рубахи засучены. Рядом с ним Янек и Нина. Янек Барановский мало похож на своего младшего брата. Он старше Миньки всего на три года, но в такого детину вытянулся, что хоть ты его складывай, как плотницкий метр. Янек всегда сутулится, видимо, стесняясь своего роста и словно предлагая: можете подойти и сложить меня, если вам хочется.

Янек что-то объясняет женщинам и страшно размахивает длинными руками. Толя живо представляет, как он еще и моргает при этом. У Янека это так получается: зажмурится, как от резкого света, соберет веснушки на переносице, потом широко откроет глаза и глянет, будто только что на свет появился. Повторяет эту процедуру он без конца.

Алексей кого-то ищет, а Нина улыбается и показывает в сторону Толи. Толя нарочно отвернулся, сделав вид, что он тут все время. А если его не замечали раньше, не он виноват в этом.

Ночевать многие ушли в лес, и почему-то не в чистый сухой бор, а на болото, по-видимому считая, что место тем безопаснее,

чем оно хуже. Корзуну тоже выбрали. Только дедушка отказался. Он даже разделся, укладываясь спать. Бабушка уговаривала его идти со всеми, ругала громко, как бы оправдываясь за «старого дурня», но мама почему-то совсем не сердилась на дедушку. А ведь дедушка оставался на верную гибель.

В лесу и ночью совсем неплохо. Пахнет теплой сыростью, подсохшее болотце щедро устлано мягкими моховыми подушками. Когда ночуешь в лесу, хочется смотреть в небо. Правда, и смотреть-то больше некуда.

Там, где город, стукнуло раз и сразу – второй. И вот – слышно – между звездами воровато крадется самолет, он уже над головой. Это он сбросил бомбы. Но почему позволяют ему улететь?

Опять вспыхивают разговоры о фронте. Высказываются веские предположения о наших и немецких стратегических планах. Вполголоса, конечно, ведь о шпионах столько всяких слухов.

Сколько ни слушай эти разговоры, сколько ни ходи в гости к соседям, а спать когда-то надо. И тут начинаешь понимать, как мало приспособлено для ночевки болото, и делаешь открытие, что и в войну нельзя не замечать комаров. Можно подумать, что сам теплый болотный воздух рождает комариные тучи. Будто сетка над головой висит, живая, озвученная. Вот от сетки отрывается вкрадчивый ноющий писк. Точно на паутинке, висит злодей на этом тоненьком писке, то подтягивается вверх, то опускается. Писк все нежнее, все настойчивее. Обрывается – и сразу обжигает руку, или лоб, или затылок. Бьешь по собственному затылку, комариную сетку словно ветром относит. Но лишь на миг. Снова опускается она, и опять вкрадчивый и зудящий писк, от которого кожа покрывается пупырышками, как от холода. Фу-ты, мерзость!.. И трут не помогает, разве весь этот мох поджечь...

Алексей спать не ложится, сосет папиросы. С некоторых пор ему это не запрещается. Тошно смотреть, как небрежно Алексей и Янек держат в губах свои сигарки. А какие важные лица у них при этом! И какие разговоры! Теперь и Толя мог бы задымить, маме не до того. Но ему противно такое ломанье, и он нарочно не станет курить.

И все же он снова завидует брату. Алексей послонялся по болоту, а потом собрался домой, не обращая внимания на мамины сердитые уговоры. Зато стоило об этом заикнуться Толе, как тут же пришлось пожалеть, что у него есть язык. И уйти не удалось, и все,

что недослушал старший брат, досталось ему. А мама умеет донять словами.

Так всегда и во всем. Алексей, когда и поменьше был, умел без долгих разговоров на своем поставить. Зато предназначенная ему порция маминой заботы тут же изливалась на Толю. Возможно, потому и говорят женщины (Толе доводилось слышать):

– А младшего вы, Анна Михайловна, больше любите.

Ох, меньше бы его любили!

А сейчас оставалось брать пример с бабушки. Закутав голову теплым платком, она тихонько сидит под сосенкой, будто и не слышит, что другие расходятся по домам.

К утру болотце почти опустело, хотя теперь-то и можно было ожидать самолетов. Поселковцы, ночевавшие под крышей, шуточками встречали «дачников».

Алексей уже встал, сидит над дедушкиным ящиком и приколачивает каблук, дедушка давится утренней порцией кашля и дыма, а посреди комнаты стоит Аня, больничная кухарка, которую в поселке называют «полтавкой», и рассказывает, как вчера самолет гонял санитарок вокруг морга:

– Мы сюды – вин оттуда, мы туды – вин отсюда. А дивчата вси в билых халатах.

Немцы!

Опять звонил отец. Мама, очень возбужденная, объяснила, что папа советовал быть наготове. Может быть, придется уехать в деревню, кто знает. Но страшного пока ничего нет.

Толя снова умчался к клубу. Там, около трехтонки, много людей собралось. Пока Толя бежал, подошла команда красноармейцев. Черные, потные бойцы свалились под соснами. Их окружили, расспрашивают, но отвечает, и как-то неохотно, лишь молодой лейтенант. Каждое слово его ловят, пересказывают: «Перегруппировка... подтягиваются... разворачивают силы... по железной дороге...»

На машине говорят наперебой:

– Из Бреста.

– Горит все...

– Мой только посадил нас, а сам вернулся туда.

Высокая худая женщина, кутающая девочку в скатерть с бахромой, произнесла это «туда» с откровенной женской завистью

и недружелюбно глядя на тех соседок, возле которых скромненько примостились какие-то толстенные мужчины.

Поселковцы рассматривают беженцев с тревожным недоумением. А женщина с девочкой все приподнимается и смотрит, скоро ли шофер зальет воду в радиатор.

Уехали беженцы, следом потянулась команда красноармейцев.

– А пехота все пешедралом.

На сказавшего дружно набросились:

– Это же в тылу, всех не посадишь на машины.

– Будь уверен, техники там у нас хватит. Я был у брата, на самой границе, знаешь, сколько по железной дороге пушек и танков гнали.

У Миньки на огороде делают бомбоубежище. Их теперь роют все, появились даже специалисты, они переходят со двора во двор и поучают, как класть настил, сколько земли наваливать. Вот и здесь торчит сварливый пенсионер Тит и поругивает работников: это не так, то – тоже не так.

Пришел Алексей, отозвал Толю и сказал, что они едут в деревню.

Дедушка и на этот раз отказался трогаться с места, зато бабушка так заторопилась, словно боялась, что ее могут оставить. Нина вдруг по-бабьи подобрала губы, на глазах слезы. Уезжать, когда вот-вот мама ее приедет с Кавказа! Нина стояла над глуховатым дедушкой и объясняла ему вполголоса, что он должен сказать ее маме. Дедушка не понимал, переспрашивал, но Нина почему-то стеснялась говорить громче.

К вечеру были в деревне – в трех километрах от Лесной Селибы. Остановились у знакомого дорожного мастера Порохневича. Дом у него большой, под черепицей, в сторонке от колхозной улицы. За домом хороший сад.

В деревне слухи о фронте еще глуше, но разговоров больше. Досконально известно, что по другим дорогам войска движутся на запад. А что по «варшавке» идут и едут на восток – не страшно. Это потрепанные части отсылают в тыл, чтобы не мешали. И все же бомбоубежища роют обязательно там, где хлеба наилучшие, как бы подчеркивая, что теперь уже не важно то, что было важно вчера. А хлеба в этом году на редкость хорошие: «Будто к войне!»

Пятый вечер войны был ясный. Остро пахло росистым овсом. На западе – странные красные сполохи. Пронесся даже слух, что это фронт, но в такое никто не может поверить. По радио

сообщили, что бои за Барановичами. Вот только наши подтянут силы...

Алексей еще засветло ушел в поселок разузнать, что там делают. Спать ложились без него, а ночью всех поднял радостный голос хозяина:

– Ну, слава богу! Вот когда наши силу двинули. Слышите? Стекла дребезжали, будто кто тряс хату за углы.

Все, полуодетые, выбежали во двор. Порохневич куда-то пропал. Дрожа от ночной свежести, а еще больше от радостного возбуждения, Толя по-мужски поясняет женщинам:

– Это танки, много...

Тишина опускается с блеклого неба вместе с молочным предутренним светом луны, и в хлебных полях – прислушивающаяся тишина. И лишь там, где шоссе, стоит плотная стена грохота и рева. Эта стена высоко поднимается напротив деревни, а по краям круто спадает: далекое приглушенное гудение уходит куда-то в сторону Слуцка и в сторону Бобруйска.

Потянуло к людям. На колхозной улице тоже слушают шоссе и тоже говорят почему-то вполголоса.

Заметили бегущего человека. Он то ныряет с головой в белые от лунного света хлеба, то выныривает по грудь, выбрасывая руки в стороны. Время от времени его будто волной сносит (видимо, когда в борозду попадает).

При виде этого барахтающегося, тонущего в белых хлебах человека, за спиной которого воеет шоссе, какое-то беспокойство охватило людей. Впервые с тревогой подумалось о том, что ревело на «варшавке».

Издали прорвался низкий срывающийся голос:

– Не-е-мцы!

Протяжно, по-бабьи, завывала девочка-подросток и побежала куда-то в огороды.

До самого рассвета сидели в хате. Жалобно дребезжали оконные стекла, неумолимо приходило утро, а с ним вплотную подступало то, что уже свершилось, хотя еще и не вошло в деревню. В который уже раз Порохневич рассказывает:

– Подхожу. Что такое? Двигутся с запада. Танки, а меж них мотоциклеты так и вьются. Я и сел, да назад, назад. А по житу бежит женщина, кругом ни души, а она кричит: немцы!

Человек этот не помнит, что и он так же бежал и кричал.

Противная мелкая дрожь переместилась куда-то внутрь, будто Толя льда наглотался. Он все еще с непонятым ожиданием смотрел из угла на застывшую у окна мать. Но именно в эти минуты окончательно рушилась в нем детская вера, что она может отвести любую беду.

Толя знает, что мама, охваченная ужасом, думает об Алеше: он там, где сейчас – немцы. Наконец прозвучал ее голос, глухо, издалека:

– Как же теперь, что теперь?

Порохневич, точно паутину снимая, провел рукой по худому, заостренному лицу и не отозвался. А Толя вдруг ощутил по-настоящему: немцы не только там, где Алеша, они уже здесь, все остается на месте, прежним, а ничто уже не прежнее. Рождалось жуткое чувство раздвоенности: будто во сне видишь себя мертвым. И хотелось скорее проснуться, чтобы убедиться, что это только сон.

Но *проснуться от немцев* уже невозможно. Скоро появятся они, и ничего ты не можешь сделать, чтобы этого не было.

Солнце, как вчера, всходило из-за гребня далекого леса, и, как вчера, от росы побелела трава. Прозрачно-зеленая рожь, в которой утопают колхозные гумна, дышит тяжело, всей массой.

И даже люди по каким-то своим: делам проходят по улице.

В дальнем конце деревни взревела машина. Вот оно! Ближе, ближе. Большая, с длинным, как рыло худой свиньи, радиатором. Из-под брезента посыпались в зеленом и черном, разбежались по дворам. Снова собрались, повскакивали в кузов, машина развернулась и ушла, черно задымив и застучав так, что эхо понеслось за гумна, к лесу.

Сразу стало известно, что немцы собирали яйца. А больше ничего. Видно, точно так же рассказывали бы о неведомых враждебных существах с другой планеты.

Медлительная и тихая тетя Поля поставила на стол тарелку с белой горкой яиц.

– С Христовым праздничком вас, – нехорошо усмехнулся Порохневич.

Он так и остался с ночи в фуфайке поверх нательного белья и в туфлях на босу ногу. Еще вчера он не решился бы показаться в таком виде перед чужой женщиной, но теперь он этого не замечает и сидит у всех на виду в кальсонах.

– Что ж, живыми в могилу ложиться? – говорит тетя Поля и принимается растапливать печь. – Иди вот оденься.

Хозяин удивленно осматривает себя и уходит в другую комнату.

Толя отправился на улицу. Шоссе не умолкает. Над пышными придорожными березами низко проплывают транспортные самолеты. Высоко в небе еще один этаж – истребители.

Толя видел, как три женщины прошли в сторону шоссе, и сам, осмелев, двинулся следом. Вот уже видны мелькающие между стволов берез белые кресты на темной броне танков.

Неумолчно кричит асфальт под стальными гусеницами, а сверху через каждые несколько минут обрушиваются на землю оглушающий рев большущие «транспорты» с ясно видимыми маслянистыми, грязно-желтыми подтеками на широких крыльях.

День солнечный, голубой, нежная зелень заливает все вокруг. Только все это будто онемело, оглохло.

Толя осторожно подступил к канаве, где уже толпилась босоногая ватага мальчишек. Много тут и взрослых, особенно женщин. Молча смотрят на немцев, которые стоят в люках танков, сидят за пулеметами в колясках мотоциклов, повисли на подножках машин.

Немцы в жестких накидках лягушачьего желто-зеленого или грязного цвета, неподвижные, как истуканы. А многие – совсем голые: трусики, автомат на грязном от пыли животе, на шее – шелковая косынка. Во всем этом столько наглой самоуверенности, что людям за кюветом и обидно и страшно.

Тяжелый броневой клин, внезапно проломивший границу, стремительно и беспощадно врезался в живое тело страны. Люди, которые так неожиданно оказались позади линии фронта, выглядели растерянными и подавленными. Они вчера еще верили в скорую победу, а тут вдруг своими глазами увидели, с какой всеяющей отчаяние стремительностью враг катил на восток. Гнетущее ощущение страшной и непонятной катастрофы сковало людей. Что немец пройдет весь Союз, не думалось. Но катастрофой было уже то, что враг – здесь, а не мы у него, катастрофой были эти танки, эти немцы с кокетливыми шарфиками в трехстах километрах от границы. На голых немцев с автоматами смотрели люди, которых шквал событий не захватил, не стронул с места. И это особенно жутко: еще вчера было одно, с чем сроднились и своим прошлым и будущим своих детей, и вдруг все исчезло, пришло новое, стремящееся зачеркнуть то, что было, отнять то, что

ожидало впереди. Люди даже не успели по-настоящему испугаться за свою жизнь.

Возвращаясь назад, Толя увидел, что мать идет, почти бежит навстречу ему. С тревогой подумал об Алексее. Но нет, это из-за Толи мама бежит, из-за него. Толя замедлил шаги, но, видно, никуда не денешься от приготовленных для тебя сердитых слов.

– Ты что это надумал... зачем ты так?

Толя постарался вырваться вперед, но мать, придерживая рукой рассыпавшийся узел волос, шла за ним, след в след.

– Я хотел только...

– У вас все так, а я с ума схожу.

– Ай, мама!

– Что «ай, мама»?

Нет, лучше помолчать. Скажи слово, его тотчас подхватят и затолкают тебе же в рот.

У калитки их поджидал Алексей. Хмурый, гармошка морщин наползает из-под чуба на брови. Мама спешит к нему, а он хоть бы с места сдвинулся.

– Ну что, сынок?..

– Ничего – немцы. Три машины заводские уехали. Успели.

Обедать Алексей отказался, посидел за столом, закурил и вышел во двор. Мама проводила его каким-то странным взглядом. Заторопилась, стала шарить в сумочке. Задержала руку, потом подала Толе что-то завернутое. Смущенно сказала:

– Спрячь, ну что тебе, пусть будет.

Ничего не понимая, сын развернул потертый, пахнущий бумажной пылью пакетик.

– Это крестильный твой. Пускай будет на всякий случай. Вдруг немцы станут... Сделай это, сынок, для меня.

– На черта мне это, – глядя на позеленевший медный крестик, проговорил Толя голосом старшего брата.

Мать все с тем же непривычным смущением перед сыном пригрозила, нехотя улыбаясь:

– Вот поговори мне. Думаешь – большой. Отлуплю – будешь знать.

Она быстро отняла у него пакетик и положила в сумочку.

По улице пронеслись два мотоцикла, потом пошли танки, распирая грохотом улицу. И вновь стало слышно шоссе, к которому, привыкнув, перестали было прислушиваться.

Мать подошла к окну:

– Зачем я потащила вас сюда? Вот люди уехали. Алеша молчит, а я вижу. Что же я могла сделать, детки? И про Москву так говорят...

И она заплакала, убито, беспомощно, как плачут по умершему.

– Детки мои, вот и нет вашей жизни, ничего нет.

– Нигде они не будут, ни в Москве, нигде... Увидишь, как их попрут! – бессвязно заговорил сын, начиная постигать всю беспощадность того, что вломилось в их жизнь.

Стены дома внезапно вздрогнули от тяжелого взрыва. Еще и еще. Быстро вошел хозяин, за ним вскочил в хату Алексей и сообщил:

– Начался бой.

До самых сумерек грохотало за лесом. Деревня, которая недавно так беззащитно лежала перед пришельцами, сразу стала иной: люди перебегают улицу, шепчутся, на лицах тревога и надежда.

У Порохневича собралось несколько соседей. Двоих Толя знает. Высокий – Голуб, который когда-то Толе казался таинственным хозяином уходящей на Москву дороги. Когда этот человек тяжело шел по обочине или возился со щебенкой, Толя подбегал и смотрел. И то, что Голуб всегда молчит, было понятно: он молчит не один, а вдвоем с дорогой. Иногда появлялась другая фигура. Тяжело переломившись, длинный Голуб сдвигал песок к асфальту, а рядом по-воробьиному прыгал маленький человечек Повидайка и все что-то рассказывал. Лопата у этого человечка не для работы, а чтобы проделывать с нею разные штучки: быстро-быстро ковырнет что-то под ногами, потом обопрется на лопату, затем откинет ее за спину, вскинет на плечо, снова опустит и снова ковырнет песок.

Сегодня Толя впервые рассмотрел Повидайку вблизи. Если на угловатом лице Голуба кожа темная, точно дубленая, то у Повидайки личико как у младенца. Странно видеть на нем седую щетину.

Соседи дымят махоркой и ждут. Говорят, машин на шоссе уже нет, поток их вдруг иссяк. Порохневич уходил куда-то и принес сведения: наши вышли из лесу и оседлали шоссе у моста. Мужчины стали рассуждать, нарочно или не нарочно сюда впустили немца. Еще недавно людям казалось непоправимой катастрофой то, что

немцы уже здесь. А теперь радовались снова – каждому взрыву, каждой пулеметной очереди.

– Слышите, слышите? – спрашивают по очереди.

Если человек, счастливый своим завидным здоровьем, вдруг узнает, что он опасно заболел, он испугается, падет духом. Но наступит малейшее улучшение, и человек в этот миг будет более счастлив, чем когда был совершенно здоров. Вот такой короткой, но острой была радость и этих людей, которые еще утром считали, что случилось непоправимое. И ведь не знали они, чьи это пулеметы там беснуются, чьи снаряды рвутся. Радовались уже тому, что идет бой. Главное, чтобы не было тишины, чтобы не думалось: «Вот и все».

– Вот и все, – именно так и сказал Порохневич, когда бой притих. Лишь шуршит что-то вдали, точно по жести щебенку сыпают.

– Автоматы, – сказал Алексей.

Последние несколько взрывов, и – тихо, тихо. Опять надвинулось то, что, казалось, отступило.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.